

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ "ДЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ" ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАТАЛОГ "ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ РОССИИ..." ИНДЕКС: 26260. НАШ САЙТ: denlit.ru

# ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ



Глава из романа "Если Бог станет необходим, он найдёт тебя сам"

Янин вылез из пивнушки, как из смолокурни, весь налитанный табачным чадом и прогорклым человеческим думом. Обошел вокзал, присматривая себе место на грядущий ночлег. Москва велика, но нет в ней приколоно одинокому нищелюбоду. Какой-то окончательно опустившийся мужик в лохмотной овчине, протянул к нему согреленную грязную ладонь, униженно улыбаясь. Янин развел руками и прошёл мимо. Скоро и он, бесплечный бродяга, превратится в такого же божка. По пути подобрал со скамьи расстеленную газету; пригодится на ночлежку. Наверное, где-то есть в Москве ночлежки, приюты для бездомных, но дух Янина ещё противился, бунтовал против низа, на дне которого придётся раствориться.

Приткнулся в угол, нарочито широко, на две руки распахнул газету, дразня милтонов и шпиков. Нет, натуре не переделаешь; каков рожен — таков и заморожен. Спросите его, зачем дразнишь гусей? — не объяснит и в здравом уме.

"День" призывает к восстанию: "Банду Ельцина под суд!". Круто, смело, вызывающе смело, не стаять — кпяток; коли так безоглядно пишут, значит пока не линчуют и мозги не выбивают. Хотя, судя по накалу, дело идёт к расправе, — подумал Янин, бегло проглядывая замасленную газету, пахнущую жареной курицей. В деревне Ижме старухи судачили о том же: "Пьяница беспальный... Ему даже овец нельзя доверить пасть, а он куда вылезался, дристан, на какую вышину, дурак такой! В тачку бы его, да и на мусорную свалку".

Редактор "Дня" Александр Проханов был знаком Янину шапочко, издавала, но знаком и даже пару раз "порукались", сердечная широкая улыбка и баюкающий грудной голос даже намекали на возможное приятельство. Но, как говорится, близко не приближайся — разлитой, далеко не отходи — забудут. А Николай так глубоко занорился в лесные дебри, так отчаянно отшатнулся от добрых знакомцев, так крепко затворился в безмолвие, что сам и возвёл глухую стену молчания вокруг себя. Вот исчез человек с глаз, посчитав одиночество за бесценное земное благо, и, столько лет не подавая голос, как бы умер для всех. Одни затерялись, исполнившись гордыни, другие канули в небытие, иные бежали из столицы в обиде на словочные нравы нового времени, дескать, гори всё синим пламенем, — а банда захребетников и прилипал, шакалов и тиен тем временем не зевала, по-свински нагло уселась за стол и давай жрать в три горла, со всех сторон обгрызая русский каравай. Главное успеть надкусить, оставить метку и печатку от своих зубов, а там время покажет, чья возьмёт. "Кто смеет, тот и съел", — девиз ростошчика-живоглота, ловко снимающего с должника последнюю шкуру, пока тот не очнулся и не завопил: "Караул, грабят!".

...За Проханова крепко взялись. Свора поганых бесерменов топчет и топчутся на его имени, как хлысты на радеины, значит что-то такое болючее, скрытное зачали писатель острым коготком, о чём незабытно, пока ранка кровит, — и вот коготь, пропадины, голосят, черти окаянные, с перекрёстков, житья не дают, обкладывают матом "соловья гештабы" чёрные вороны пертурски; дескать, коммуняка, жидоёв, красно-коричневый бандит, графоман, фашист, чума на его дом. А Проханов, не робея, усердно напильником скоблит их по жёстким зубам, снимает стружку, аж искры из пасти снопом, как у огнедышащего змия, пожирающего коньяк девственниц и пьющего кровь невинных белокурой младенцев.

Смысл поездки в Москву потихоньку нащупывался. Если Янин сорвался из дома в неизвестность, значит, кто-то позвал неотложно, значит нестерпимо стало таиться в своём куту, когда народу невнимосно больно и он ищет Спасителя. Спаситель был тысячелик и тысячечерк, но у него была одна страдательная Душа. Сейчас, наверное, — предположил Янин, блуждая по гудящим, тревожному вокзалу, — на поездках и самолётах, на машинах и автобусах спешат со всех углов Союза безымянные ополченцы Большого полка в столицу, чтобы подставить плечо под Крест страстей. Никто не звал их на помощь, не молил прибыть, но душе было нестерпимо оставаться в стороне, и многие тайно осознавали, что идут в безвестность, в последний путь, на заклятие, но тёмное печальное будущее не убивает стремления, не подталкивает воли, но разжигает чувство справедливости и Христовой правды, которое можно утишить лишь в бою.

Янин опустился в метро и бессознательно, по какому-то чудному наитию вышел на Цветном бульваре, где сила магла угол газета "День". Ноги сами зная, куда идти.

На этажах было уныло, тревожно, серный запах беда струился по коридорам, подобно болотному гнилому ручью, залпневелые хмурые окна походили на бойнички, казалось, за каждым поворотом в напряжённой тишине за мешками с песком таится засада с пулемётом.

Вот он, штаб восстания, и если толкнуться в близкую дверь, то увидишь дедушку Ленина, согреленный прильнувшего к углу стола и бегло строчащего очередные тезисы, и ближайшего друга Иудушку Троцкого, торчащего за плечом, нетерпеливо облаксивающего маузер. "Промедление смерти подобно!.. Ну как?! — воскликнул Ильич, оглянувшись на приятеля и добавил опасливо. — Не ворوشي зря эту штуку. Оружие раз в жизни само стреляет". Янин не расслышал, что ответил сподвижник вождю, потому что мимо резко широким прошагал высокий мужик в кожаном длинном пальто и шляпе, в восторженных лакированных штиблетах, с рыжим туго набитым потёртым саковьяем, похожий на чекиста, — и перебил видение.

Упакованный господин исчез за дверью и Николай, не чинясь, толкнулся следом. — Александр Андреевич занят... У него совещание. — Секретарша, занятая упакованным солидным гостем, даже не взглянула на Янина. — Должите Проханову, что пришёл Царь Николай. В приёмной возникло лёгкое замешательство. — Скажите... да-да, так и скажите.

пришёл Царь Николай. Проханов знает. — Янин икнул, его плавно повело влево, и он обрушился на диван, закинул ногу на ногу. Секретарша как-то боком, но удивительно ловко, по-своейски, втиснулась в кабинет и плотно затворила за собою дверь; но оттуда успели вырхнуть пахучее облачко от цыплёнка-табака и шелуха неразличимых слов. У Николая засало под ложечкой, затомилось в груди и он с тоской вдруг подумал, что жареного цыплёнка прикочнать без него. И с укоризною в свою сторону добавил, сглаживая слону: "Зачем с утра пил? Кто не закусывает, тому нельзя пить". Вы-

## Владимир ЛИЧУТИН Человек ниоткуда

Сокий господин снял широкополую шляпу, смахнул с короткой стрижки невидимую пыль; у него были упругие, плотно прижатые уши и перебитый в переносице нос кулачного бойца. Он так и не присел, а воздвиг перед собою на стол саковьяк, наверное, боялся отступить от себя, нервно перемалывал и взглядывал на часы. Всё на господине профессорского вида было ладно пригнано: крахмальные упругие манжеты с золотыми запонками, белая рубашка со стаячим воротником, кожаное длинное пальто с иностранными "лейблами" — коротче, преуспевающий гражданин с американских берегов, перепутавший в России явки и адреса и, заблудившись, случайно оказался в "Черносотенной, нерукопожатной газетёнке", постоянно лаявшей на евреев и либералов. Он маялся, считал минуты, ещё не догадываясь, что через три дня снайперская пуля пробьёт переносицу и выйдет в затылке. Эх, кабы знать, где упадёшь, загодя бы коврик подстелил... В этом непонятном томлении господин достал очки в тонкой золотой оправе, посмотрел время и перевёл пронизывающий взгляд на Янина.

— Я вас читал, — глуховатым голосом вдруг нарушил молчание господин. Он, оказывается, знал Янина, и это ему пошло. — Вы хорошо пишете, но куда-то пропали? Наверное, крепко употребляете? — Бывает... не без этого. — Николай звучно щелкнул по острому кадыку и пьяновато засмеялся. — Не говорю не пей, но говорю — не упивайся! Ибо вино — это кровь Христова... Знаете, кто сказал? Не последний ли человек. На сухое устало лицо задумчивого, всё знающего господина сошла грусть. — Но лучше не надо. — Он, поколебавшись, но открыл саковьяк, запустил тонкие пальцы в туго набитое нутро, не глядя пошарил там, вынул три пачки денег и небрежно, с каким-то высокомерием и чувством превосходства кинул Янину на чайный столик. Так бросают собаке кость. — Истратить, потом ещё дам... Только не пей... — Спасибо, благодетель... — привстал Янин и поклонился.

Он не обиделся, что его приравняли к беспородному псу, но и обрадоваться не успел, понять, что же случилось; словно молния ударила и гром прогремел над Москвою в суровые крещенские морозы. Господь призрел беспомощного человека на опасном распутье и протянул руку помощи. Но Николай ведь не просил Спасителя, даже не вспомнил о нём с той самой минуты, как вышел из дома.

Янин, не чинясь, торопливо рассовал пачки по карманам. Тут появилась секретарша, легко подхватила таинственного человека под локоть, чтобы не пропал "денежный мешок", и слегка прижимаясь, подхватываясь под его длинный шаг, как упитанная собачонка, повела гостя в другую дверь. Господин прошёл мимо, не кивнув на прощание, даже не взглянув на Николая.

Что-то же толкнуло Николая ехать именно на Цветной бульвар, хотя ничего доброго не сулилось, и никаких указательных знаков не было разоставлено по дороге из деревни. Люди в редакции работают, дело делают, они некогда прохлаждать, вести разговоры с бездельными забытым литератором, "ничтожнейшим" из всех существ в мире, забывшим благородные задачи гражданина. Значит, судьба, — решил Янин, с некоторым горячечным туманом в голове разглядывая пустынные стены с единственным громадным плакатом, закрывающим окно, чтобы никто не подглядывал в редакцию "Дня" с улицы. Человек в кожанке с маузером на боку, смахивающий на Проханова, жёстко целил в Николая Янина крюковацким пальцем и грозно спрашивал: "Ты всё сделал для защиты Отечества?".

...Да-да, это несомненно судьба... Судьба — это комбинация разновекторных сил, ответственность, смыслы и неведомых задач, которые сбегаются в одну точку, независимо от человека "Х", и устраивают ему ловушку. Это как муха, до того волюно летавшая по комнате, вдруг попадает в тенёты паука, хотя тот и не вязал сети специально для этого несчастного существа, но именно оно залпает в мелкую ячею, и борьба уже бессмысленна.

Три пачки "синеньких", распахнутые по карманам, приятно грели ладони и грудь. Не было ни гроша — и вдруг алтын. На похороны хватят, — вдруг в необычную сторону скользнула мысль и попригугула.

Тут вернулась грудастая кареглазая секретарша, чрезвычайно взволнованная, и оборвала путаную мысль. — Кто это был? — спросил Янин. — И мне вдруг перепало... Как с неба свалилось.

— Друг газеты, — сухо ответила женщина. — Что же вы не заходите к Александру Андреевичу?.. Вас там ждут... Проханов сидел в дружеской компании и был уже в легком подпитии, улыбаясь, в добром расположении духа. — Здравствуй, Коля... А мы тут решили пообедать. Война — войной, а еда по расписанию. Присаживайся, старичок, к столу... Сто лет не выдались. Володя Бондаренко, подай Царю стул. Видишь, кто нас удостоит аудиенции?.. Батюшка, отец Димитрий, смотрите кто нас навещил, этого Царя, можно сказать явился с твоей светой, если есть Тот Свет и Тот Стол, на котором нас поджидают яства, драгоценные вина, благовония, золотые яблочки, медунчики шуршат сплюдыными крылами и тянут хоботками из душистого сладкого рондичка райский нектар... Ира, Ира! — вскричал Проханов через стенку. — Где ты там, милое сокровище, наша спасительни-

цыла, звезда неугасимая, наша кормилица, звезда Сходи, пожалуйста, в магазин и повори... Парочку "каберне", цыплёночка, огурчочков... Какой у нас высокий гость, сам Царь Николай Третий, да и батюшка ничего не выкушал, а всё паки и паки, воздухом сыт. Я бы послал Володю Бондаренко, он скор на ногу и знает, чем напичать грешное брюхо, но либеральная мафия грозит его убить, бывший друг Приставкин точат киржалы вместе с Черниченко. Надо срочно витья Бондаренко беречь. — Только пусть попробуют, не на того напали. — У Бондаренко от выпитого вина лицо становится мужественным,



пытает кумачом под цвет красного свитера. Критик готов к борьбе с полчищами "ненаших". — Вчера прямо домой доставили посылку... Ха-ха... Открываю, а в ящике гробик, обтянутый красным бархатом, в гробике череп и скотские черева... Хотят запугать. Димитрий Дудко весь лучился, слушав, приставил ладонь к уху, но в разговор не вступал. Лысина во всю мако-

вицу, будто смазанная горчицей мёдом, глаза ласковые, но вместе с тем текучие, испытующие, перебегают по лицам. Сквозная седая борёдка, колыхается невесомые, в кудель, волосёнки по-над ушами, и кажется, что над куполом головы трещит серебряный венчик света. Отец Димитрий всех немилостивцев давно простил, не держит зла, и оттого, что душа его свободна от мстительного чувства, полна доброты и любви, ему живётся настолько волюно и незлобиво, насколько позволяет жестокое время, захваченное "неистовыми псами революции". Скоро вернулась Ирина, принесла вина и закусок, ловко прибралась и заново наладил стол. Отец Димитрий озирает всех любознательным взглядом и жевал красный пылающий черинок, похожий на поросычий кутачок, любимое лакомство редактора. Пригубил вина ровно столько, чтобы только смочить губы и не сронить бордовые ягоды на бородо. В затрапезном чёрном пиджаке с нагрудным крестом на цепи, Димитрий Дудко напоминал бедного приходского батюшку из волжского старинного села, случайно угодившего в самое чрево противостояния стяжателей с нестяжателями. От него-то и нужны были лишь немногословное благое напутствие и эта ободряющая, умягчающая улыбка, с которою священник наблюдал случайное, быть может последнее в жизни каждого, скудное пиришество.

— Тебе, наверное, водочки? — спросил Проханов, подглядывая, как стеснительно щиплет курицу Янин. — Ведь ты по-прежнему считаешь, что вино — это кобылья моча? — Да нет, отчего ж... И вина можно. Я уже водочки с утра принял... — Вино побуждает к добру, оно умягчает, гонит сердечную слизь, погружает в лёгкий туман, когда никого в подорожностях не видишь, но всех отчего-то жалко до слёз. Так-нет, отец Димитрий? А водка что... она, как кувалод, бряк по голове и никакого тут ума, одно безумие, сушит и терзает на части душу, зовёт к топору. Особенно, когда жарко. И никакой пощадки, никакого умиления. Но когда на улице морозец, когда все члены коленуют, тогда о-о-о! Тогда водочка — целительный бальзам. Стопочка для куражу — лучшее лекарство. Алтеки не нужны.

— Либералы помнят Бога, но не верят в Него. Они подходят к Спасителю с дальним бухгалтерским расчётом: а сколько переплатить лично мне? — и это опасно. Они крайне эгоистичны, себялюбивы, немилостивы, — заметил Димитрий Дудко, снова пригубив бурого вина. — Я их много знал по тюрьмам. Они не умеют прощать, выкованные из холодного металла. Они давно отдели себя главное место на земле, и в раю хотят занять все лавки в красном углу, чтобы никого из русских простодушников не пустили. Они отчего-то думают, что обязательно попадут в рай. В Бога не верят, но знают, что рай есть и там в последние времена их ждут.

— Может снова их Бог являл им скрижали, где всё расписано по дням? — Проханов ткнул пальцем в потолок. — Какие-то беззаботные, наивные в своей наглости и жестокости люди. Сейчас добрые люди сидят в обороне в Белом доме безоружные, считают часы, сколько осталось жить на свете, а злые и тёмные демократы стаей нависли над Белым домом, хихикают, орут пьяно Ельцину: "Раздавай гадину!". Все эти Окуджавы и Черниченки. Сколько страсти, сколько удовольствия они сейчас испытывают, напевая песенку: "Возьмёмся за руки, друзья...". И не понимают стяжатели, что судьба их заберебёт поодионочке, как вот эту курогриль по косточкам, каждого в свой момент, а у неё зубы вострые. Уцепят, когда не ждёшь, — и не вылезешь из капкана. Судьба — это медвежий капкан, который мы сами для себя заботливо выставляем и всё отвёденное на свете время только и думаем, как бы не угодили в ловушку, как петух в ощиц. — Не помянут... Патриарх их предаст анафеме... Если прольют кровь, будут прокляты на этом и том свете, — перебил Бондаренко, заботливо перетирая зубами курятину, запивая "кабер-

не". — Он же возгласил. Ты что, не слышал?.. Чего ещё надо... Батюшка, а ты то как думаешь? Может, завтра и папиль начнут? Уже всё готово у злодеев, войска подтянуты на безоружных, танки ползут в столицу со всех сторон. У осаждённых ни воды, ни света, тысячи закрылись в стенах, ждут, надеются, молят Бога. А с бесами-то что будет? — Не могу знать, Володенка... Где они будут, куда их Бог пошлёт на Том Свете, на какие галереи, в какие киплящие котлы, — мягко, неспотычиво отвечал Димитрий Дудко, широко улыбаясь, нисколько не омрачаясь ликом, будто речь шла о постороннем и ничтожном. — Они ведь, отступники, чувствуют не как мы, православные, у них свой Хозяин. Не надо за них переживать, миленький, кто ложь почитает за правду, а ненависть за любовь. Господь всегда поступает по справедливости. И волю Его надо принять.

— Жить по справедливости, это вечная мечта русского народа, — подхватился за последние слова Проханов. — Пьёшь? — прямо спросил отец Димитрий, уже без сладости в голосе. — Пью, — едва слышно признался Янин. Скорее прошлестел губами. Ему стало вдруг стыдно своей негодящей пролитой сути, утратившей человеческий облик, своего мятого, в пузырях, лица. — И часто? — Всегда... Сколько себя помню. — А когда же ты работаешь? — Никогда... — А как же ты живёшь? Янин пожал плечами. Что тут скажешь, и как оправдаться, — если сушая правда. Батюшка растерялся, пожевал губами, о чём-то размыслив, посмотрел в глаза Янину — не шутит ли? — и сказал решительно, отбросив сомнения: — С этой минуты ты бросил пить. Амьнь... Вот так вот... Батюшка разжал ладонь, отпустил пальцы Янина на волю, поднёс к его губам тяжёлый серебряный крест с распятием, и Янин искренне, с неожиданным слезливым чувством поцеловал его, ощутив на языке лёгкую кислинку. И сразу, в ту же минуту, поверил, что завязал с зелёным змием, стал совершенным человеком, и тьма египетская окончательно отступила от него.

— У меня уже шестое пятидесяте человек, которые с моего благословения бросили пить, — легонько возгордаясь собою, загораясь круглыми щеками и воссияв голубым детским взглядом, воскликнул отец Димитрий. — Скажу вам, всеякие были люди, порою конченные, совсем пропащие, иные споткнулись нечаянно и упали, были и урки, что из тюрьмы не вылезали, и вот в камере, в этом аду, и завязали с рюмкой... Такое вот дело... А ты-то, Коленка, — протянул батюшка умильно, растягивая звуки, — а ты-то хочешь начал пить? С какого такого невнимосного горя? — Значит, судьба... — Знать судьба его-о такая... — пропел Проханов, — жить от бабы вдальше... Девки довели? Они та-а-кие, прорвы...

Но Янин не успел ответить. — Судьбы нет, — уже строго отчеканил отец Димитрий. Он окормлял паству в газете "День" и надо было держать урливое стадо в строгости, чтобы не заблудилось в эти окаянные годы, когда многие, не подумав отчётливо, не представив будущее осыпавшейся страны, хватаются за оружие. — Да-да, судьбы нет, а есть финиш. — Но это и есть исполнение судьбы. Итог жизни, как прожил, — неожиданно для себя возразил Янин, приотдыгаясь от батюшки, чтобы взглянуть в его глаза — не шутит ли? — Как это судьбы нет? — вскричал Бондаренко. — Батюшка, то ли ты говоришь? — А вот так, Володенка... Суд Божий один на всех, и когда он будет, — неизвестно нам смертным... Судьба, это личная свобода выбора, твоя дорога, которую выбираешь, по горам, или долинкам, напрямком или кривулинкой, через тернии, или чистыми лугами, на коне хохлопком, или пешки, с Богом или с самим чёртом, будь он проклят. Финиш твоей жизни — и есть судьба, которую ты самочином выбрал, без ничьей на то указки, и никто тебе, вроде бы не указ, и не на кого тебе пенять и плакаться о напрасно прожитых годах... Если выбрал рюмку, то и тони. Господь ничем тебе не поможет, даже ногтя в помощь не протянет, если не призвал Его в помощь. Не призвал Его... значит, не нужен... И Он не придёт... Скажи больше: Николай Островский был атеистом, но он приник к Господу куда плотнее, чем многие верующие. Николай Островский — это святомуичник, православный атеист, взявший пример с Христа; с его образа иконы будут писать и молиться по церквям во своё спасение. Вот он-то в раю. Истинно говорю вам.

Батюшка не сказал "амьнь", но всем послышалось, что итог суждений подведен. Измученный хворями, но с ясным взглядом Николаю Островский, вызволенный из кладбищенской темени, появился в Красном углу редакции, как "адамова охранительная голова", обвёл застолье укоризненным взглядом и принудил всех замолчать. В комнате воцарилась глухая тишина, и тут из-за толстых кирпичных стен, из-за амбразур залпневелых окон, напоминающих крепостные бойнички подосвенного боя, донёсся неясный, грозный гул русского восстания. Вздвужаженный народ двинулся Московю, разлившись по улицам, и, казалось, не сыскать сейчас во всём свете той силы, которая могла бы обуздать людскую реку, вогнать в прежнее русло.

Церковь отбирает свободу выбора, и в этом её здоровая сила. В хаосе смуты православная вера отыскивает центромстительные силы, которые утишают анархическую волю, настраивают гармонию, спасают душу от разрушения, — возразил Янин. — Свобода выбора есть лишь у атеистов и монахов. Атеисты уверены, что Бога нет, что я — пуп земли, и этот пупизм позволяет им творить что угодно. Монахи же свой выбор сделали, и ничего больше не волнует их. Они говорят: мы выбрали свою жизнь и счастливы во Христе. Другая жизнь им претит, и они свободны. А если человек, к примеру, только что крестился, вошёл в церковь не по уму лишь, но искренне, по зову души, то он окончательно повязал себя с Богом, сам оставаясь внутри неумираемых сомнений в полном одиночестве. Вот и тычется в закоулки и отпрыдывает от них в испуге, боясь Божьей грозы. Что-то тынет вернуться обратно в мир со всеми его прелестями и сладкими грехами, бесы смущают, но совесть не пускает из церкви. Надо исполнять заповеди, — учит она, — быть в миру подобным Богу.

— Но это же твой выбор, быть в Боге или вовне, — настаивал священник, — ...пьяница ты или трезвенник. — Батюшка утомился, лицо состарилось, пошло крапивными пятнами, побелело на висках, глаза потускнели, затуманились, но он не собирался отступить и гнул свою линию, невольно снова отбирая у Янина свободу поступка. — Нет и нет, отец Димитрий... Это не

выбор, как выбираем помидоры на базаре, роемся на лотке, но это нечто другое, что невозможно определить словесно, но всё на грани мистики, подполья души. Когда человек приходит в лоно церкви, он добровольно лишается свободы выбора, сознательно обрезае тупиковые тропы, соглашаясь с её заповедями, говоря: "Я не хочу вести себя дурно", ибо это негодно Богу. Где ж тут свобода? Перед твоим взором всегда стоит с укоризною суровый и любящий тебя Отец, которого ты любишь и боишься оскорбить и обидеть непослушанием. Господь возбуждает совесть до предела, и только это чувство путеводительно. Атеист говорит: "Всякая власть — есть насилие". Верующий во Христа утверждает: "Всякая власть от Бога"... И вот сейчас сатанисты осаждают Белый дом, может завтра или нынче ночью трупозвоны потащат убиенных и будут топить трупы в реке, а тёмные силы будут реготать и глумиться, орать по телевидению, что нельзя идти против власти, ибо всякая власть от Бога...

— Царь, остановись! Тебя понесло куда-то не туда, — закричал Проханов. — Ты совсем заклевал нашего батюшку, насколчил, как петух на курицу, и давай топтать... Ира, Ира, принеси нам кофею! — Саша, ты тоже загнул... Батюшка тебе не курица, чтобы его топтали... Он нечто другое. Ха-ха-ха... — засмеялся Бондаренко. — Мы любим рассуждать о Боге, легко судим, потому что верим внешне, пьём веру, как хмельное вино, чтобы наутро, проснувшись, забыть, что случилось с нами. Многие нынче поспешили в церковь, чтобы успеть, не опоздать к раздаче милостыни, обжигая пальцы о пылающие свечи, тьнем аллилуйю постным голоском, целуем иерею руку, любим рассказывать, какие мы нынче молитвенники, но веры-то не прибыло в нас. — Голос Проханова закрипел по-стариковски монотонно, обречённо, как бы внутри расселась трещина, и вовне из нутра полились далеко скрываеемые скорбь и уныние. Он повертел в пальцах бокал бордового, почти чёрного вина, напиток всколыхнулся, вскипел, пошёл наружу пузырьки, будто из-под верхней пласти полезло в застолье мстительное существо.

— Александр Андреевич, и это уже хорошо, что задумались, — поправил Димитрий Дудко, но Проханов навряд ли его расслышал, ибо трудно думая, пытался склеить прошлое с настоящим, а шов постоянно расплывался, ибо евангельское слово отражалось от глубины, не нарушая её остылости. — В молодости в Загорске был у меня приятель, директор музея, а кабинет находился над ризницей. И был он гуляка, художник, пьяница и говорун, и постоянно у него много народа собиралось на застолье, похожие на тайные вечера, особенно когда ворота монастыря закрывались. Вот так гуляли отчаянны. Я вышел во двор и окружила меня необыкновенная тишина, и на душу сошло благостное краткое чувство. Кто-то направил меня в часовенку Сергея Радонежского и мне захотелось стать на колени перед великим святым. Но смута в груди какая-то мешала: может гул разговора, не утихающий в голове, выпитое вино, неопределённое будущее, какая-то затхлая унывность дней, когда годы друг за другом упадают безмолвно в пропасть, и ничего не происходит, и жизнь катится зря. Но решился, упал на колени, перекрестился и вдруг заплакал от умиления, от кротости, от благодати, от душевного порыва, от нахлынувшего чувства, что Бог наконец-то открылся и всегда будет возле неотступно... Но прошло какое-то время, и всё потускнело, и Бог отступил. Значит, вера моя была внешняя, а не внутренняя, и если бы я чуть притворился, выказал себя в крепкой дружбе с церковью, то вполне мог бы показаться глубоко верующим, и все бы посчитали меня искренне преданным Богу, но это была бы та неправда, что хуже воровства, и называется она лицемерием. Вот лицемеры и фарисеи, вновь расплаывая русского Христа, и пришли нынче в к власти, и побежали врприжурья в церковь, как тараканы на сало; отстраивая Божьи дома, икачас этим безусловно добрым почином, они делают русских людей двоедушными и трудедушными. Отсюда столько в государстве разврата, цинизма, лжи, дущегубства, воровства и подлости...

Глаза Проханова приопыли, призагнулись блестящей пленкой, готовые захлопнуться от напывающей слезы, и он, стыдясь сентиментального чувства, торопливо пригубил вина, упрятывая взгляд в бокале. Признание Проханова отозвалось в душе Янина столь отчётливо, с той несомненной правдой, которую переживал Николай последние годы, будто редактор "Дня" считывал потаённые мысли, в которых было бы невольно открыться на людях. Глаза невольно зацпила близкой слезою, и Янин потынул насильно налить рюмку водки (чтобы крепче шибануло по мозгам), но взгляд батюшки остановил руку.

— Но не все же так низко пали, Александр Андреевич, — снова поправил батюшка. — Лиха беда начало, главное, стронуться с места, прислониться к церкви, встать в притворе и почуять сладкий запах кадилничьи, услышать волшебную невнятицу молитвы, увидеть треплетное сияние свечей, принять путь и внешне пока, всё то, что и зовётся храмом, красотой его, где обитает Бог. Русский народ живёт по поговорке: пришла беда — отворай ворота. Пока не грянул гром, мужик не перекрестится. И грянуло ведь... Слышите за стенами людской прибой? Господь сказал: не спите, дети мои, ибо все злодейства творятся в тиши. И проснулись.

— Да, не все... Но проснувшихся так мало. — Так нам кажется... Смирение не есть покорство, а спящие не есть мёртвые. Достанет миллиона деятельных православных, чтобы Русь проснулась. Больше всего бесов вьётся вокруг золотых куполов... Александр Андреевич, вы очень страстный человек, — заметил отец Димитрий, и чтобы замаять невольность, торопливо добавил. — Но для писателя это половина таланта... Много хуже, когда человек ни тёпл, ни холоден. — Ты, батюшка, поэт... Свои глубинные чаяния превращаешь в молитву и потому народ так тянется к тебе за божественным откровением.

— Нет и нет, отец Димитрий... Это не